

Толстой Л. Н.

Дьявол

Толстой Л. Н. Дьявол // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 тт. Т. 27. М.: Гос. изд. «Художественная литература», 1936. С. 481–515.

1889–1909 гг.

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну

(Матфея V, 28, 29, 30).

I

Евгения Иртенева ожидала блестящая карьера. Все у него было для этого. Прекрасное домашнее воспитание, блестящее окончание курса на юридическом факультете Петербургского университета, связи по недавно умершему отцу с самым высшим обществом и даже начало службы в министерстве под покровительством министра. Было и состояние, даже большое состояние, но сомнительное. Отец жил за границей и в Петербурге, давая по шести тысяч сыновьям — Евгению и старшему, Андрею, служившему в кавалергардах, и сам проживал с матерью очень много. Только летом он приезжал на два месяца в имение, но не занимался хозяйством, предоставляя все заевшемуся управляющему, тоже не занимавшемуся имением, но к которому он имел полное доверие.

После смерти отца, когда братья стали делиться, оказалось, что долгов было так много, что поверенный по делам советовал даже, оставив за собой имение бабки, которое ценили в сто тысяч, отказаться от наследства. Но сосед по имению, помещик, имевший дела с стариком Иртеневым, то есть имевший вексель на него и приехавший для этого в Петербург, говорил, что, несмотря на долги, дела можно поправить и удержать еще большое состояние. Стоило только продать лес, отдельные куски пустоши и удержать главное золотое дно — Семеновское с четырьмя тысячами десятин чернозема, сахарным заводом и двумястами десятин заливных лугов, если посвятить себя этому делу и, поселившись в деревне, умно и расчетливо хозяйничать.

И вот Евгений, съездив весной (отец умер постом) в имения и осмотрев все, решил выйти в отставку, поселиться с матерью в деревне и заняться хозяйством с тем, чтобы удержать главное имение. С братом, с которым не был особенно дружен, он сделался так: обязался ему платить ежегодно четыре тысячи или одновременно восемьдесят тысяч, за которые брат отказывался от своей доли наследства.

Так он и сделал и, поселившись с матерью в большом доме, горячо и осторожно вместе с тем взялся за хозяйство.

Обыкновенно думают, что самые обычные консерваторы — это старики, а новаторы — это молодые люди. Это не совсем справедливо. Самые обычные консерваторы — это молодые люди. Молодые люди, которым хочется жить, но которые не думают и не имеют времени подумать о том, как надо жить, и которые поэтому избирают себе за образец ту жизнь, которая была.

Так было и с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце — отец был дурной хозяин, но при деде. И теперь и в доме, и в саду, и в хозяйстве он, разумеется, с изменениями, свойственными времени, старался воскресить общий дух жизни деда — все на широкую ногу, довольство всех вокруг и порядок и благоустройство, а для того чтоб устроить эту жизнь, дела было очень много: нужно было и удовлетворять требованиям кредиторов и банков и для того продавать земли и отсрочивать платежи, нужно было и добывать деньги, для того чтобы продолжать вести; где наймом, где работниками, огромное хозяйство в Семеновском с четырьмя тысячами десятин запашки и сахарным заводом; нужно было и в доме и в саду делать так, чтобы не похоже было на запущение и упадок.

Работы было много, но и сил было много у Евгения — сил и физических и духовных. Ему было двадцать шесть лет, он был среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами и с негустыми, мягкими и вьющимися волосами. Единственный физический изъян его была близорукость, которую он сам развил себе очками, и теперь уже не мог ходить без пенсне, которое уже прокладывало черточки наверху горбинки его носа. Таков он был физически, духовный же облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше любил. Мать и всегда любила его больше всех, теперь же, после смерти мужа, сосредоточила на нем не только всю свою нежность, но всю свою жизнь. Но не одна мать так любила его. Товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но уважали его. На всех посторонних он всегда действовал так же. Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду при таком открытом, честном лице и, главное, глазах.

Вообще вся его личность много помогала ему в его делах. Кредитор, который отказал бы другому, верил ему. Приказчик, староста, мужик, который сделал бы гадость, обманул бы другого, забывал обмануть под приятным впечатлением общения с добрым, простым и, главное, открытым человеком.

Был конец мая. Кое-как Евгений наладил дело в городе об освобождении пустоши от залога, чтобы продать ее купцу, и занял деньги у этого же купца на то, чтобы обновить инвентарь, то есть лошадей, быков, подводы. И, главное, на то, чтобы начать необходимую постройку хутора. Дело наладилось. Возили лес, плотники уже работали, и навоз возили на восьмидесяти подводах, но все до сих пор висело на ниточке.

II

В середине этих забот случилось обстоятельство хотя и не важное, но в то время помучавшее Евгения. Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с разного рода женщинами. Он был не развратник, но и не был, как он

сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил. Началось это с шестнадцати лет. И до сих пор шло благополучно. Благополучно в том смысле, что он не предался разврату, не увлекся ни разу и не был ни разу болен. Была у него в Петербурге сначала швея, потом она испортилась, и он устроился иначе. И эта сторона была так обеспечена, что не смущала его.

Но вот в деревне он жил второй месяц и решительно не знал, как ему быть. Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда? Как? Это одно тревожило Евгения Ивановича, а так как он был уверен, что это необходимо и что ему нужно, ему действительно становилось нужно, и он чувствовал, что он не свободен и что он против воли провожает каждую молодую женщину глазами.

Он считал нехорошим у себя в своей деревне сойтись с женщиной или девкой. Он знал по рассказам, что и отец его и дед в этом отношении совершенно отделились от других помещиков того времени и дома не заводили у себя никогда никаких шашен с крепостными, и решил, что этого он не сделает; но потом, все более и более чувствуя себя связанным и с ужасом представляя себе то, что с ним может быть в городишке, и сообразив, что теперь не крепостные, он решил, что можно и здесь. Только бы сделать это так, чтобы никто не знал, и не для разврата, а только для здоровья, так говорил он себе. И когда он решил это, ему стало еще беспокойнее; говоря с старостой, с мужиками, с столяром, он невольно наводил разговор на женщин, и, если разговор заходил о женщинах, то задерживал на этом. На женщин же он приглядывался больше и больше.

III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возьмется ли за это старый Данила. "Может быть, он ужаснется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится". Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезде поле у дьячихи и как Пряничникову он привел бабу.

"Можно", -- подумал Евгений.

-- Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не занимался.

"Нельзя", -- подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

-- Как же ты такими делами нехорошими занимался?

-- А что же тут худого? И она рада и мой Федор Захарыч довольны-предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьет.

"Да, можно сказать", -- подумал Евгений и тотчас же приступил.

-- А знаешь, -- он почувствовал, как он багрово покраснел, -- знаешь, Данила, я измучался. -- Данила улыбнулся. -- Я все-таки не монах -- привык.

Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался,

потому что Данила одобрял.

— Что ж, вы бы давно сказали, это можно,— сказал он. — Вы только скажите какую.

— Ах, право, мне все равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

— Понял! — откусил Данила. Он подумал. — Ох, хороша штучка есть,— начал он. Опять Евгений покраснел. — Хороша штучка. Извольте видеть, выдали ее по осени,— Данила стал шептать,— а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

— Нет, нет,— заговорил он. — Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот — солдатка или эдак...

— Знаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городе, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю — пойди, а она...

— Ну, так когда же?

— Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

— Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. "Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивы,— говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. — Но что я скажу, что я сделаю?"

Целый день он был не свой. На другой день в двенадцать часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услышал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за овражком. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно-бурой напеве, красном ярком платке, с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

— Тут кругом тропочка, обошли бы,— сказала она,— А мы давно. Голомя.

Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.

Через четверть часа они разошлись, он нашел пенсне и зашел к Даниле и в ответ на вопрос его: "Довольны ль, барии?" — дал ему рубль и пошел домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошел. И все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. "Чья бишь она? — говорил он себе. — Печникова он сказал? Какая же это Печникова? [В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников] Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы-старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь".

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни — невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелегкое: иногда ему казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки

придется продать имение, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная. Во все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в двенадцать тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

— Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? — спросил он у матери, когда они, по обыкновению, сошлись за обедом.

— Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что?

Евгений рассказал матери про письмо.

— Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

— Но должны мы ей?

— То есть как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте...

— Да, но папа считал это долгом.

— Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его.

— Из этого я вижу, что надо платить,— сказал сын.— Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

— Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше. Ты ей скажи, что она должна подождать,— говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная я гордая решением сына.

Положение Евгения было особенно трудно оттого еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много две тысячи рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о матерьяльном

положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

IV

Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать: мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего-то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное -- он чувствовал -- нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свиданья надеялся совсем больше не видеть Степаниды; но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безличное; а ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий "голомя", тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом. Как ни совестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын, он жил в кучерах в Москве.

-- Ну что же, как же ты... -- Евгений хотел спросить, как она изменяет ему.

-- Чего как же? -- спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива.

-- Ну как же вот ты ко мне ходишь?

-- Вона, -- весело проговорила она. -- Он, я чай, там гуляе. Что ж мне-то?

Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению. Но все-таки он не назначил ей сам свиданья. Даже когда она предложила, чтобы сходитьсь помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему нравилась. Он думал, что ему необходима такое общение и что дурного в этом нет ничего; но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз, если же не надеялся, то, по крайней мере, не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой раз.

Так и шло все лето, в продолжение которого он виделся с ней раз десять и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свиданья продолжались по-старому, сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз, в самое назначенное время свиданья, к Марье Павловне приехало семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как

будто на гумно и в обход тропинкой в лес на место свиданья. Ее не было. Но на обычном месте все, куда могла достать рука, все было переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиной. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда.

Так прошло лето. Свиданья всегда назначались в лесу и один раз только, уж перед осенью, в гуменном сарае на их задворках. Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Давал ей деньги, и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее и что ее представление о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо.

"Просто для здоровья надо же,— думал Евгений. — Положим, нехорошо, и, хотя никто не говорит, все или многие знают. Баба, с которой она ходит, знает. А знает, верно, рассказала и другим. Но что же делать? Скверно я поступаю,— думал Евгений,— да что делать, ну да ненадолго".

Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидел мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а наверно лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина.

— Другого такого нет в деревне,— с гордостью сказала она.

Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись, прямо сказал ему:

— А Михайла намедни спрашивал меня, правда ли, что барин с сына женой живет. Я сказал, не знаю. Да и то, говорю, лучше с баринном, чем с мужиком.

— Ну, что ж он?

— Да ничего, говорит: погоди ж, дознаюсь, я ей задам.

"Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил",— думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока продолжались. "Когда надо будет, оборву, и ничего не останется",— думал он.

И ему казалось это несомненным, потому что в продолжение лета много разных вещей очень сильно занимали его: и устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и, главное, уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношения же — он даже не называл это связью — с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что, когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но это продолжалось недолго, устраивалось свиданье, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц.

Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анненских. У Анненских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Анненскую и сделал ей предложение.

С тех пор сношения с Степанидой прекратились.

V

Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста, каких сватала ему мать, и то, что она была наивна и жалка в отношениях к своей матери, и то, что она не была красавица, обращающая на себя внимание, и не была дурна. Главное же было то, что сближение с ней началось в такой период, когда Евгений был зрел к женитьбе. Он влюбился потому, что знал, что женится.

Лиза Анненская сначала только нравилась Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувство гораздо более сильное, он почувствовал, что он влюблен.

Лиза была высокая, тонкая, длинная. Длинное было в ней все: и лицо, и нос не вперед, но вдоль по лицу, и пальцы, и ступни. Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза. Эти глаза особенно поразили Евгения. И когда он думал о Лизе, он видел всегда перед собой эти ясные, кроткие, доверчивые глаза.

Такова она была физически; духовно же он ничего не знал про нее, а только видел эти глаза. И эти глаза, казалось, говорили ему все, что ему нужно было знать. Смысл же этих глаз был такой.

Еще с института, с пятнадцати лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена. Вышедши из института, она точно так же влюблялась во всех молодых мужчин, которых встречала, и, разумеется, влюбилась в Евгения, как только узнала его. Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбленье ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним, но когда Иртенев стал бывать у них, на бале, собрании, танцевал с ней больше, чем с другими, и, очевидно, желал узнать только, любит ли она его, тогда влюбленье ее в Иртенева сделалось чем-то болезненным, она видела его во сне и наяву в темной комнате, и все другие исчезли для нее. Когда же он сделал предложение и их благословили, когда она поцеловалась с ним и стали жених с невестой, тогда у ней не стало других мыслей, кроме него, других желаний, кроме того, чтобы быть с ним, чтобы любить его и быть им любимой. Она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему. Чем больше он узнавал ее, тем больше и он любил ее. Он никак не ожидал встретить такую любовь, и эта любовь усиливала еще его чувство.

VI

Перед весной он приехал в Семеновское посмотреть и распорядиться по хозяйству, а главное по дому, где шло убранство для женитьбы.

Марья Павловна была недовольна выбором сына, но только потому, что партия эта не была так блестяща, как она могла бы быть, и потому, что Варвара Алексеевна, будущая теща, не нравилась ей. Добрая ли она была или злая, она не знала и не решила, но то, что она была не порядочная женщина, не *comme il faut*, не леди, как говорила себе Марья Павловна, это она увидела с первого знакомства, и это огорчало ее. Огорчало за то, что она ценила эту порядочность по привычке, знала, что Евгений очень чуток на это, и предвидела для него много огорчений от этого. Девушка же ей нравилась. Нравилась, главное, потому, что она нравилась Евгению. Надо было любить ее. И Марья Павловна готова была на это, и совершенно искренно.

Евгений застал мать радостной, довольной. Она устраивала все в доме и сама собиралась уехать, как только он привезет молодую жену. Евгений уговаривал ее остаться. И вопрос оставался нерешенным. Вечером, по обыкновению, после чая Марья Павловна делала пасьян. Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых душевных разговоров. Окончив один пасьян и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так:

— А я хотела тебе сказать, Женя. Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела посоветовать о том, что перед женитьбой надо непременно покончить все свои холостые дела, так чтобы ничего уже не могло беспокоить и тебя и, помилуй бог, жену. Ты меня понимаешь?

И действительно, Евгений сейчас же понял, что Марья Павловна намекала на его сношения с Степанидой, которые прекратились с самой осени, и, как всегда одинокие женщины, приписывала этим сношениям гораздо большее значение, чем то, которое они имели. Евгений покраснел, и не от стыда столько, сколько от досады, что добрая Марья Павловна суется — правда, любя,— но все-таки суется туда, куда ей не надо и чего она не понимает и не может понимать. Он сказал, что у него ничего нет такого, что бы нужно было скрывать, и что он именно так себя вел всегда, чтобы ничто не могло помешать его женитьбе.

— Ну и прекрасно, дружок. Ты, Геня, не обижайся на меня,— сказала Марья Павловна, конфузясь.

Но Евгений видел, что она не кончила и не сказала то, что хотела. Так и вышло. Немного погодя она стала рассказывать о том, как без него ее просили крестить у... Пчельниковых.

Теперь Евгений вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от какого-то странного чувства сознания важности того, что ему сейчас скажут, сознания невольного, совершенно несогласного с его рассуждением. Так и вышло то, чего он ожидал. Марья Павловна, как будто не имея никаких других целей, кроме разговора, рассказала, что нынешний год родятся все мальчики, видно, к войне. И у Васиных, и у Пчельникова молодая бабочка первым-тоже мальчик. Марья Павловна хотела рассказать это незаметно, но ей самой сделалось стыдно, когда она увидела краску на лице сына и его нервные снимание, пощелкивание и надевание пенсне и поспешное закуриванье папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга.

— Да, главное, в деревне надо справедливость, чтоб не было любимцев, как у дяди твоего.

— Маменька,— сказал вдруг Евгений,— я знаю, к чему вы это говорите. Вы напрасно тревожитесь. Для меня моя будущая семейная жизнь такая святыня, которой я ни в каком случае не нарушу. А то,

что было в моей холостой жизни, то все кончено совсем. И я никогда не входил ни в какие связи, и никто не имеет на меня никаких прав.

— Ну, я рада,— сказала мать. — Я знаю твои благородные мысли.

Евгений принял эти слова матери как следующую ему дань и замолчал.

На другое утро он поехал в город, думая о невесте, обо всем на свете, но только не о Степаниде. Но как будто нарочно, чтобы напомнить ему, он, подъезжая к церкви, стал встречать народ; шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея—старика с Семеном, ребят, молодых девок, а вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке, и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро, и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись, а молодайка с ребенком только нагнула голову, и из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза.

"Да, это она, но все кончено, и нечего смотреть на нее. И ребенок, может быть, мой,— мелькнуло ему в голове. — Нет, вздор какой. Муж был, она к нему ходила". Он не стал высчитывать даже. Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между им и ею нет, не было, не может и не должно быть. Он не то чтобы заминал голос совести, нет, прямо совесть ничего не говорила ему. И он не вспомнил о ней ни разу после разговора матери и встречи. И ни разу после и не встречал ее.

На Красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. Дом был устроен, как обыкновенно устраивают для молодых. Марья Павловна хотела уехать, но Евгений, а главное — Лиза упростили ее остаться. Только она перешла во флигель.

И так началась для Евгения новая жизнь.

VII

Первый год семейной жизни был трудный год для Евгения. Труден он был тем, что дела, которые он откладывал кое-как во время сватовства, теперь, после женитьбы, все вдруг обрушились на него.

Выпутаться из долгов оказалось невозможным. Дача была продана, самые кричащие долги покрыты, но все еще оставались долги, и денег не было. Именье принесло хороший доход, но нужно было послать брату и издержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти, и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены. Лиза, поняв положение мужа, сама потребовала этого. Евгений согласился, но только с тем, чтобы сделать купчую на половину именья на имя жены. Так он и сделал.

Разумеется, не для жены, которую это оскорбляло, а для тещи.

Эти дела с разными переменами, то успех, то неуспех, было одно, что отравляло жизнь Евгения в этот первый год. Другое было нездоровье жены. В этот же первый год, семь месяцев после женитьбы, осенью, с Лизой случилась беда. Она выехала в шарабане встречать мужа, возвращавшегося из города, смиренная лошадь заиграла, она испугалась, выпрыгнула. Прыжок был относительно счастливый,— она могла зацепиться за колесо,— но она была уже беременна, и в ту же ночь у нее начались боли, и она выкинула и долго не могла справиться после выкидыша. Потеря ожидаемого ребенка, болезнь жены, связанное с этим расстройство жизни и, главное, присутствие тещи, приехавшей тотчас же, как заболела Лиза,— все это сделало для Евгения год этот

еще более тяжелым.

Но, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, к концу первого года Евгений чувствовал себя очень хорошо. Во-первых, его задушевная мысль восстановить упавшее состояние, возобновить дедовскую жизнь в новых формах, хотя с трудом и медленно, но приводилась в исполнение. Теперь уже речи не могло быть о продаже за долги всего имения. Имение главное, хотя и переписанное на имя жены, было спасено, и если только свекла будет выходна и цены хороши, то к будущему году положение нужды и напряжения может замениться совершенным довольством. Это было одно.

Другое было то, что, как ни много он ожидал от своей жены, он никак не ожидал найти в ней то, что он нашел: это было не то, чего он ожидал, но это было гораздо лучше. Умилений, восторгов влюбленных, хотя он и старался их устраивать, не выходило или выходило очень слабо; но выходило совсем другое, то, что не только веселее, приятнее, но легче стало жить. Он не знал, отчего это происходит, но это было так.

Происходило же это оттого, что ею было решено тотчас же после обручения, что из всех людей в мире есть один Евгений Иртенев выше, умнее, чище, благороднее всех, и потому обязанность всех людей служить и делать приятное этому Иртеневу. Но так как всех нельзя заставить это делать, то надо по мере сил делать это самой.

Так она и делала, и потому все ее силы душевные всегда были направлены на то, чтобы узнать, угадать то, что он любит, и потом делать это самое, что бы это ни было и как бы трудно это ни было.

И в ней было то, что составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души. Она чуяла — ему казалось, часто лучше его самого — всякое состояние его души, всякий оттенок его чувства и соответственно этого поступала, стало быть никогда не оскорбляла его чувства, а всегда умеряла тяжелые чувства и усиливала радостные. Но не только чувства, мысли его она понимала. Самые чуждые ей предметы по сельскому хозяйству, по заводу, по оценке людей она сразу понимала и не только могла быть ему собеседником, но часто, как он сам говорил ей, полезным, незаменимым советчиком. На вещи, людей, на все в мире она смотрела только его глазами. Она любила свою мать, но, увидав, что Евгению бывало неприятно вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее.

Сверх всего этого, в ней была пропасть вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно, заметны были только результаты дела, то есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза тотчас же поняла, в чем состоял идеал жизни ее мужа, и старалась достигнуть и достигала в устройстве и порядке дома того самого, чего он желал. Недоставало детей, но и на это была надежда. Зимой они съездили в Петербург к акушеру, и он уверил их, что она совсем здорова и может иметь детей.

И это желание сбылось. К концу года она опять забеременела.

Одно, что не то что отравляло, но угрожало их счастью, была ее ревность — ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала. Не только Евгений не мог никого любить, потому что не было на свете женщин, достойных его (о том, что была ли она достойна его, или нет, она никогда не спрашивала себя), но и ни одна женщина поэтому не могла сметь любить его.

VIII

Жили они так: он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Марья Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных, за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься. Вечером, когда он приходил из конторы, пили поздно чай, и иногда он читал вслух, она работала, или музицировали, или разговаривали, когда бывали гости. Когда он уезжал по делам, он писал и получал от нее письма каждый день. Иногда она сопровождала его, и это бывало особенно весело. В именины его и ее собирались гости, и ему приятно было видеть, как она умела все устроить так, что всем было хорошо. Он видел, да и слышал, что все любят ее, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы, все это решал Евгений, и она только желала покорно исполнить его волю. Евгений же начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки. Она, разумеется, соглашалась на все и готовилась, сшивала конверты теплые и холодные и устраивала качку. Так наступил второй год их женитьбы и вторая весна.

IX

Это было под Троицын день. Лиза была на пятом месяце и, хотя и береглась, была весела и подвижна. Обе матери, ее и его, жили в доме под предлогом карауления и оберегания ее и только тревожили ее своими пикировками. Евгений занимался особенно горячо хозяйством, новой обработкой в больших размерах свеклы.

Под Троицын день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуге двух поденных баб, чтоб вымыть полы, окна, и выбить мебель и ковры, и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь, в полумойки. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барыню. Степанида жила по-старому одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшим ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым — конторщиком. Об барине она вовсе и не думала. "У него теперь жена есть, — думала она. — А лестно посмотреть барыню, ее заведение, хорошо, говорят, убрано".

Евгений, с тех пор как встретил ее с ребенком, не видал ее. На поденную она не ходила, так как была с ребенком, а он редко проходил по деревне. В это утро, накануне Троицына дня, Евгений рано, в пятом часу, встал и уехал на паровое поле, где должны были рассыпать фосфориты, и вышел из дома, пока еще бабы не входили в него, а возились у печи с котлами.

Веселый, довольный и голодный, Евгений возвращался к завтраку. Он слез с лошади у калитки и, отдав ее проходившему садовнику, постегивая хлыстом высокую траву, повторяя, как это часто бывает,

произнесенную фразу, шел к дому. Фраза, которую он повторял, была: "Фосфориты оправдают", -- что, перед кем -- он не знал и не думал.

На лужку колотили ковер. Мебель была вынесена.

"Матушки! какую Лиза затеяла перечистку. Фосфориты оправдают. Вот так хозяйка. Хозяюшка! Да, хозяйюшка, -- сказал он сам себе, живо представив себе ее в белом капоте, с сияющим от радости лицом, какое у нее почти всегда было, когда он смотрел на нее. -- Да, надо переменить сапоги, а то фосфориты оправдают, то есть пахнет навозом, а хозяйюшка--то--с в таком положении. Отчего в таком положении? Да, растет там в ней маленький Иртенев новый, -- подумал он. -- Да, фосфориты оправдают". И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.

Но не успел он надавить на дверь, как она сама отворилась, и нос с носом он столкнулся с шедшей ему навстречу с ведром, подоткнутой, босоногой и с высоко засученными рукавами бабой. Он посторонился, чтобы пропустить бабу, она тоже посторонилась, поправляя верхом мокрой руки сбившийся платок.

-- Иди, иди, я не пойду, коли вы... -- начал было Евгений и вдруг, узнав ее, остановился.

Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него. И, обдернув паневу, вышла из двери.

"Что за вздор?.. Что такое?.. Не может быть", -- хмурясь и отряхиваясь, как от мухи, говорил себе Евгений, недовольный тем, что он заметил ее. Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами.

"Да что же я смотрю, -- сказал он себе, опуская глаза, чтоб не видеть ее. -- Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие". И он повернулся назад к себе в комнату; но не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидеть ее. Она заходила за угол и в то же мгновение тоже оглянулась на него.

"Ах, что я делаю, -- вскрикнул он в душе. -- Она может подумать. Даже наверно она уже подумала".

Он вошел в свою мокрую комнату. Другая баба, старая, худая, была там и мыла еще. Евгений прошел на цыпочках через грязные лужи к стенке, где стояли сапоги, и хотел выходить, когда баба тоже вышла.

"Эта вышла, и придет та, Степанида -- одна", -- вдруг начал в нем рассуждать кто-то.

"Боже мой! Что я думаю, что я делаю!" Он схватил сапоги и побежал с ними в переднюю, там надел их, обчистился и вышел на террасу, где уж сидели обе мамы за кофе. Лиза, очевидно, ждала его и вошла на террасу из другой двери вместе с ним.

"Боже мой, если бы она, считающая меня таким честным, чистым, невинным, если бы она знала!" -- подумал он.

Лиза, как всегда, с сияющим лицом встретила его. Но нынче она что-то особенно показалась ему бледной, желтой и длинной, слабой.

Х

За кофеем, как и часто случалось, шел тот особенный дамский разговор, в котором логической связи не было никакой, но который, очевидно, чем-то связывался, потому что шел непрерывно.

Обе дамы пикировались, и Лиза искусно лавировала между ними.

— Мне так досадно, что не успели вымыть твою комнату до твоего приезда,— сказала она мужу. — А так хочется все перебрать.

— Ну как ты, спала после меня?

— Да, я спала, мне хорошо.

— Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую жару, когда окна на солнце,— сказала Варвара Алексеевна, ее мать.

— И без жалужи или маркиз. У меня всегда маркизы.

— Да ведь здесь тень с десяти часов,— сказала Марья Павловна.

— От этого и лихорадка. От сырости,— сказала Варвара Алексеевна, не замечая того, что она говорит прямо противное тому, что говорила сейчас. — Мой доктор говорил всегда, что нельзя никогда определить болезнь, не зная характера больной. А уж он знает, потому что это первый доктор, и мы платим ему сто рублей. Покойный муж не признавал докторов, но для меня никогда он ничего не жалел.

— Как же может мужчина жалеть для женщины, когда жизнь ее и ребенка зависит, может быть...

— Да, когда есть средства, то жена может не зависеть от мужа. Хорошая жена покоряется мужу,— сказала Варвара Алексеевна,— но только Лиза слишком еще слаба после своей болезни.

— Да нет, мама, я себя прекрасно чувствую. Что ж кипяченых сливок вам не подали?

— Мне не надо. Я могу и с сырыми.

— Я спрашивала у Варвары Алексеевны. Она отказалась,— сказала Марья Павловна, как будто оправдываясь.

— Да нет, я не хочу нынче. — И, как будто чтоб прекратить неприятный разговор и великодушно уступая, Варвара Алексеевна обратилась к Евгению: — Ну что, рассыпали фосфориты?

Лиза побежала за сливками.

— Да я не хочу, не хочу.

— Лиза! Лиза! тише,— сказала Марья Павловна. — Ей вредны эти быстрые движения.

— Ничего не вредно, если есть спокойствие душевное,— сказала, как будто на что-то намекая, Варвара Алексеевна, хотя и сама знала, что слова ее не могли ни на что намекать.

Лиза вернулась со сливками. Евгений пил свой кофе и угрюмо слушал. Он привык к этим разговорам, но нынче его особенно раздражала бессмысленность его. Ему хотелось обдумать то, что случилось с ним, а этот лепет мешал ему. Напившись кофе, Варвара Алексеевна так и ушла не в духе. Остались одни Лиза, Евгений и Марья Павловна. И разговор шел простой и приятный. Но чуткая любовью Лиза тотчас же заметила, что что-то мучает Евгения, и спросила его, не было ли чего неприятного. Он не приготовился к этому вопросу и немного замялся, отвечая, что ничего. И этот ответ еще больше заставил задуматься Лизу. Что что-то мучало и очень мучало его, ей было так же очевидно, как то, что муха попала в молоко, но он не говорил, что же это такое было.

XI

После завтрака все разошлись. Евгений, по заведенному порядку, пошел к себе в кабинет. Он не стал ни читать, ни писать письма, а сел и стал курить одну папиросу за другую, думая. Его страшно

удивило и огорчило это неожиданно проявившееся в нем скверное чувство, от которого он считал себя свободным, с тех пор как женился. Он ни разу с тех пор не испытывал этого чувства ни к ней, к той женщине, которую он знал, ни к какой бы то ни было женщине, кроме как к своей жене. Он в душе много раз радовался этому своему освобождению, и вот вдруг эта случайность, такая, казалось бы, ничтожная, открыла ему то, что он не свободен. Его мучало теперь не то, что он опять подчинился этому чувству, что он желает ее, — этого он и думать не хотел, — а то, что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения.

У него было одно неотвеченное письмо и бумага, которую надо было составить. Он сел за письменный стол и взялся за работу. Окончив ее и совсем забыв то, что его встревожило, он вышел, чтобы пройти на конюшню. И опять как на беду, по несчастной ли случайности, или нарочно, только он вышел на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая руками и перекачиваясь, прошла мимо него. Мало того, что прошла, она пробежала, миновав его, как бы играючи, и догнала товарку.

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении.

"Нет, это невозможно так оставить", — сказал он себе и, подождав того, чтобы бабы скрылись из виду, пошел в контору. Был самый обед, и он надеялся застать еще приказчика. Так и случилось. Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что-то ему говорившего.

— Василий Николаевич!

— Что прикажете?

— Мне поговорить с вами.

— Что прикажете?

— Да вот кончите.

— Разве не принесешь? — сказал Василий Николаевич скотнику.

— Тяжело, Василий Николаевич.

— Что это? — спросил Евгений.

— Да отелилась в поле корова. Ну ладно, я сейчас велю запрячь лошадь. Вели Николаю Лысуху запрячь, хоть в дроги.

Скотник ушел.

— Вот видите ли, — краснея и чувствуя это, начал Евгений. — Вот видите ли, Василий Николаевич. Тут, пока я был холостой, были у меня грехи... Вы, может быть, слышали...

Василий Николаевич улыбался глазами и, очевидно жалея барина, сказал:

— Это насчет Степашки?

— Ну да. Так вот что. Пожалуйста, пожалуйста, не берите вы ее на поденную в дом... Вы понимаете, неприятно очень мне...

— Да это, видно, Ваня-конторщик распорядился.

— Так пожалуйста... Ну так как же, рассыпят остальное? — сказал Евгений, чтобы скрыть свой конфуз.

— Да вот поеду сейчас.

Так и кончилось это. И Евгений успокоился, надеясь, что как он прожил год, не выдав ее, так будет и теперь.

"Кроме того, Василий скажет Ивану-конторщику, Иван скажет ей, и она поймет, что я не хочу этого", — говорил себе Евгений и радовался

тому, что он взял на себя и сказал Василью, как ни трудно это было ему. "Да все лучше, все лучше, чем это сомнение, этот стыд". Он содрогался при одном воспоминании об этом преступлении мыслью.

XII

Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы, преодолев стыд, сказать Василью Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено. И Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радостнее обыкновенного. "Верно, его огорчала эта пикировка между мамами. В самом деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то", — думала Лиза.

Следующий день был Троицын. Погода была прекрасная, и бабы, по обыкновению, проходя в лес завивать венки, подошли к барскому дому и стали петь и плясать. Марья Павловна и Варвара Алексеевна вышли в нарядных платьях с зонтиками на крыльцо и подошли к хороводу. С ними же вместе вышел в китайском сюртучке обрюзгший блудник и пьяница дядюшка, живший это лето у Евгения.

Как всегда, был один пестрый, яркий цветами кружок молодых баб и девок центром всего, а вокруг него с разных сторон, как оторвавшиеся и вращающиеся за нам планеты и спутники, то девчата, держась рука с рукой, шурша новым ситцем расстегаев, то малые ребята, фыркающие чему-то и бегающие взад и вперед друг за другом, то ребята взрослые, в синих и черных поддевках и картузах и красных рубахах, с непрерывающим плеваньем шелухи семечек, то дворовые или посторонние, издали поглядывающие на хоровод. Обе барыни подошли к самому кругу и вслед за ними Лиза, в голубом платье и таких же лентах на голове, с широкими рукавами, из которых виднелись ее длинные белые руки с угловатыми локтями.

Евгению не хотелось выходить, но смешно было скрываться. Он вышел тоже с папиросой на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы между тем орали во всю мочь плясовую и подщелкивали и подхлопывали в ладони и плясали.

— Барыня зовут, — сказал малый, подходя к не слыжавшему зова жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску, на одну из плясавших баб, которая ей особенно нравилась. Это была Степаша. Она была в желтом расстегае, и в плисовой безрукавке, и в шелковом платке, широкая, энергичная, румяная, веселая. Должно быть, она хорошо плясала. Он ничего не видал.

— Да, да, — сказал он, снимая и надевая пенсне. — Да, да, — говорил он. "Стало быть, нельзя мне избавиться от нее", — думал он.

Он не смотрел на нее, потому что боялся ее привлекательности, и именно от этого то, что он мельком видел в ней, казалось ему особенно привлекательным. Кроме того, он видел по блеснувшему ее взгляду, что она видит его и видит то, что он любит ее. Он постоял, сколько нужно было для приличия, и, увидав, что Варвара Алексеевна подозвала ее и что-то нескладно, фальшиво, называя ее милочкой, говорила с ней, повернулся и отошел. Он отошел и вернулся в дом. Он ушел, чтобы не видеть ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и все время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбегал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закулив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад

по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов по аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на розовом расстегане и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. "Куда-то они шли?"

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней.

— Евгений Иванов, Евгений Иванов! Я к вашей милости,— заговорил сзади голос, и Евгений, увидав старика Самохина, который рыл у него колодец, очнулся и, быстро повернувшись, пошел к Самохину. Разговаривая с ним, он повернулся боком и увидал, что они с бабой прошли вниз, очевидно к колодцу или под предлогом колодца, и потом, побыв там недолго, побежали к хорооводу.

XIII

Поговорив с Самохиным, Евгений вернулся в дом убитый, точно совершивший преступление. Во-первых, она поняла его, она думала, что он хочет видеть ее, и она желает этого. Во-вторых, эта другая баба — эта Анна Прохорова,— очевидно, знает про это.

Главное же то, что он чувствовал, что он побежден, что у него нет своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет.

"Да, погибнет,— он иначе не понимал этого,— изменить своей молодой, любящей жене в деревне с бабой, на виду всех, разве это не была гибель, страшная гибель, после которой нельзя было жить больше? Нет, надо, надо принять меры".

"Боже мой, боже мой! Что же мне делать? Неужели я так и погибну? — говорил он себе. — Разве нельзя принять мер? Да надо же что-нибудь сделать. Не думать об ней,— приказывал он себе. — Не думать!" — и тотчас же он начинал думать, и видел ее перед собой, и видел кленовую тень.

Он вспомнил, что читал про старца, который от соблазна перед женщиной, на которую должен был наложить руку, чтоб лечить ее, положил другую руку на жаровню и сжег пальцы. Он вспомнил это. "Да, я готов сжечь пальцы лучше, чем погибнуть". И он, оглянувшись, что никого нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. "Ну, думай о ней теперь",— иронически обратился он к себе. Ему стало больно, он отдернул закопченный палец, бросил спичку и сам засмеялся над собой. "Какой вздор. Не это надо делать. А надо принять меры, чтобы не видать ее,— уехать самому или ее удалить. Да, удалить! Предложить ее мужу денег, чтоб он уехал в город или в другое село. Узнают, будут говорить про это. Ну что же, все лучше, чем эта опасность. Да, надо сделать это",— говорил он себе и все, не спуская глаз, смотрел на нее. "Куда это она пошла?" — вдруг спросил он себя. Она, как ему показалось, видела его у окна и теперь, взглянув на него, взялась рукой с какой-то бабой, пошла к саду, бойко размахивая рукой. Сам не зная зачем, почему, все ради своих мыслей, он пошел в контору.

Василий Николаевич, в нарядном сертуке, напояженный, сидел за чаем с женой и гостьей в ковровом платке.

— Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить.

— Можно. Пожалуйста. Мы отпили.

-- Нет, пойдите со мной лучше.

-- Сейчас, только дай картуз возьму. Ты, Таня, самовар-то прикрой,-- сказал Василий Николаевич, весело выходя.

Евгению показалось, что он был выпивши, но что же делать; может, это к лучшему, он участливее взойдет в его положение.

-- Я, Василий Николаевич, опять о том же,-- сказал Евгений,-- об этой женщине.

-- Так что же. Я приказал, чтоб отнюдь не брать.

-- Да нет, я вообще вот что думаю и вот о чем хотел с вами посоветоваться. Нельзя ли их удалить, все семейство удалить?

-- Куда ж их удалишь? -- недовольно и насмешливо, как показалось Евгению, сказал Василий.

-- Да я так думал, что дать им денег или даже земли в Колтовском, только бы не было ее тут.

-- Да как же удалишь? Куда он пойдет с своего корня? Да и на что вам? Что она вам мешает?

-- Ах, Василий Николаевич, вы поймите, что жене это ужасно будет узнать.

-- Да кто же ей скажет?

-- Да как же жить под этим страхом? Да и вообще это тяжело.

-- И чего вы беспокоитесь, право? Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто богу не грешен, царю не виноват?

-- Все-таки лучше бы удалить. Вы не можете поговорить с мужем?

-- Да нечего говорить. Эх, Евгений Иванович, что вы это? И все прошло и забылось. Чего не бывает? А кто же теперь про вас скажет худое? Ведь вы в виду.

-- Но вы все-таки скажите.

-- Хорошо, я поговорю.

Хотя он и знал вперед, что из этого ничего не выйдет, разговор этот несколько успокоил Евгения. Он, главное, почувствовал, что он от волнения преувеличил опасность.

Разве он шел на свидание с ней? Оно и невозможно. Он просто шел пройтись по саду, а она случайно выбежала туда.

XIV

В этот же самый Троицын день, после обеда, Лиза, гуляя по саду и выходя из него на луг, куда повел ее муж, чтобы показать клевер, переходя маленькую канавку, оступилась и упала. Она упала мягко на бок, но охнула, и в лице ее муж увидел не только испуг, но боль. Он хотел поднять ее, но она отвела его руку.

-- Нет, погоди немного, Евгений,-- сказала она, слабо улыбаясь и снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него.

-- Просто нога подвернулась.

-- Вот я всегда говорю,-- заговорила Варвара Алексеевна. -- Разве можно в таком положении прыгать через канавы?

-- Да нет же, мама, ничего. Я сейчас встану.

Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела, и на лице ее выразился испуг.

-- Да, мне нехорошо,-- и она шепнула что-то матери.

-- Ах, боже мой, что наделали! Я говорила не ходить,-- кричала Варвара Алексеевна. -- Погодите, я пришлю людей. Ей не надо ходить. Ее надо снести.

-- Ты не боишься, Лиза? Я, снесу тебя,-- сказал Евгений, обхватив

ее левой рукой. -- Обойми мне шею. Вот так.

И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял. Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице.

-- Тебе тяжело, милый,-- говорила она, улыбаясь. -- Мама-то бежит, скажи ей!

И она пригнулась к нему и поцеловала. Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее.

Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтоб она не торопилась, что он донесет. Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще.

-- Ты уронишь ее, непременно уронишь. Хочешь погубить ее. Нет в тебе совести.

-- Да я прекрасно несу.

-- Не хочу я, не могу я видеть, как ты моришь мою дочь. -- И она забежала за угол аллеи.

-- Ничего, это пройдет,-- говорила Лиза, улыбаясь.

-- Да только бы не было последствий, как тот раз.

-- Нет, я не об этом. Это ничего, а я о мама. Ты устал, отдохни.

Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому и не передал ее горничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна. Он донес ее до спальни и положил на постель.

-- Ну, ты поди,-- сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее. -- Мы с Аннушкой справимся.

Марья Павловна прибежала тоже из флигеля. Лизу раздели и уложили в постель. Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь. Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно.

-- Ну что? -- спросил он.

-- Что? Что же спрашивать? То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы.

-- Варвара Алексеевна!-- вскрикнул он. -- Это невыносимо. Если вы хотите мучать людей и отравлять им жизнь,-- он хотел сказать: то поезжайте куда-нибудь в другое место, но удержался. -- Как вам не больно это?

-- Теперь поздно.

И она, победоносно встряхнув чепцом, прошла в дверь.

Падение действительно было дурное. Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш. Все знали, что делать ничего нельзя, что надо только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором.

"Многоуважаемый Николай Семенович,-- написал Евгений врачу,-- вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене. Она в..." и т. д. Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем. Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других -- увезти. Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать. Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу. Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит; но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами, и вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может. "А что бы кто ни делал, я, по крайней мере, исполнила свою обязанность".

Евгений видел это, но чтобы сделать вид, что он не замечает, старался иметь веселый и беспечный вид, рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла Кавушка отлично пошла на левой пристяжке.

— Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь. Вероятно, и доктора также свалят в канаву,— сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсне взглядывая на вязанье, подводя его под самую лампу.

— Да ведь надо же было кого-нибудь послать. А я сделал как лучше.

— Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд.

Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было.

— Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними; я все перенесу, но только не это.

— Ведь если кому больнее всех, то уж, верно, мне,— сказал Евгений.

— Да это и видно.

— Что?

— Ничего, я петли считаю.

Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожалала. "Переноси ее для меня. Ведь она не мешает нам любить друг друга",— говорил ее взгляд.

— Не буду. Это так,— прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их.

— Неужели опять то же? — сказал он. — Как ты чувствуешь?

— Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив,— сказала она, глядя на свой живот.

— Ах, страшно, страшно и думать.

Несмотря на настояние Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с нею, засыпая только одним глазом и готовый служить ей. Но ночь она провела хорошо и, если бы не было послано за доктором, может быть и встала бы.

К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противопоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю.

XV

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападков сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболел, если будет сидеть все с нею, а во-вторых, хозяйство

все шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про нее. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил, месяцами не видя ее, теперь же беспрестанно видел и встречал ее. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходиться.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдет, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу, и услышав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошел бы к ней,— так он думал,— он убежал бы; но ему нужно было видеть ее. Один раз он встретил ее: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжелым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше — и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на сознаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратить этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу был поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был замечен этот стыд,— темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что все еще не сдавался. Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от гибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но все было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это — жена, теща, люди. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес.

Так прошли мучительные пять дней. Он только видал ее издали, но

ни разу не сошелся с нею.

XVI

Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменной, которая произошла в ее муже и которой она не понимала.

Варвара Алексеевна уехала на время, из чужих гостил только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома.

В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случились, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ. Даже навоз бросили возить от сырости и грязи. Народ сидел по домам. Пастухи мучались с скотиной и, наконец, пригнали ее домой. Коровы и овцы ходили по выгону и разбегались по усадьбам. Бабы, босые и покрытые платками, шлепая по грязи, бросились разыскивать разбежавшихся коров. Ручьи текли везде по дорогам, все листья, вся трава были полны водой, из желобов текли, не умолкая, ручьи в пузырящиеся лужи. Евгений сидел дома с женой, которая была особенно скучна нынче. Она несколько раз допрашивала Евгения о причине его недовольства, он с досадой отвечал, что ничего нет. И она перестала спрашивать, но огорчилась.

Они сидели после завтрака в гостиной. Дядюшка рассказывал сотый раз свои выдумки про своих великосветских знакомых. Лиза вязала кофточку и вздыхала, жалуясь на погоду и на боль в пояснице. Дядюшка посоветовал ей лечь, а сам попросил вина. В доме Евгению было ужасно скучно. Все было слабое, скучающее. Он читал книгу и курил, но ничего не понимал.

— Да, надо пройтись посмотреть терки, вчера привезли,— сказал он. Он встал и пошел.

— Ты возьми зонтик.

— Да нет, у меня кожан. Да и я только до варков.

Он надел сапоги, кожан и пошел к заводу; но не прошел он двадцати шагов, как навстречу ему попала она в высоко над белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны ее голова и плечи.

— Что ты? — спросил он, в первую минуту не узнав ее. Когда он узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго поглядела на него.

— Теленку ищу. Куда же это вы в ненастье-то? — сказала она, точно каждый день видала его.

— Приходи в шалаш,— вдруг, сам не зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала туда, куда шла,— в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намереньем завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.

— Барин,— слышался ему сзади голос. — Барыня зовут, на минутку просят зайти.

Это был Миша, их слуга.

"Боже мой, второй раз ты спасаешь меня",— подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напоминала ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его.

Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом, выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидели из дома. Но как только вышел из вида, он тотчас повернул и пошел к

шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посередине шалаша, весело улыбающуюся; но ее не было, и в шалаше ничего не было, что бы доказывало, что она была. Он уже подумал, что она не приходила и не слыхала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услышала их. "Или, может быть, и не хотела прийти? И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж; только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою". Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте и капающем с своей соломы. "А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да,— вспомнил он,— если была, то по следам можно найти". Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней. "Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней". Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый. Он снес лекарство, вернулся домой и лег у себя в комнате, дожидаясь обеда.

XVII

Перед обедом Лиза пришла к нему и, все придумывая, что бы могло быть причиной его неудовольствия, стала говорить ему, что она боится, что ему неприятно, что ее хотят везти в Москву родить и что она решила, что останется здесь. И ни за что не поедет в Москву. Он знал, как она боялась и самих родов, и того, чтобы не родить нехорошего ребенка, и потому не мог не умилиться, видя, как легко она всем жертвовала из любви к нему. Все было так хорошо, радостно, чисто в доме; а в душе его было грязно, мерзко, ужасно. Весь вечер Евгений мучался тем, что он знал, что, несмотря на свое искреннее отвращение к своей слабости, несмотря на твердое намерение перервать, завтра будет то же самое.

— Нет, это невозможно,— говорил он себе, ходя взад и вперед по своей комнате. — Ведь должно же быть какое-нибудь средство против этого. Боже мой! что делать?

Кто-то на иностранный манер постучался в дверь. Это, он знал, был дядюшка.

— Взойдите,— сказал он.

Дядюшка пришел самопроизвольно послом от жены.

— Ты знаешь ли, что в самом деле я замечаю в тебе перемену,— сказал он,— и Лизу, я понимаю, как это мучает. Я понимаю, что тебе тяжело оставлять все начатое и прекрасное дело, но что ты хочешь, que veux tu? Я бы советовал вам ехать. Покойней будет и тебе и ей. И знаешь ли, мой совет ехать в Крым. Климат акушер там прекрасный, и в самый виноградный сезон вы попадете.

— Дядюшка,— вдруг заговорил Евгений,— можете вы соблюсти мой секрет, ужасный для меня секрет, постыдный секрет?

— Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне?

— Дядюшка! Вы можете мне помочь. Не то что помочь, спасти меня,— сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унизится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя.

— Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя полюбил,— заговорил дядюшка, видимо очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет

постыдный, и что секрет этот ему сообщат, и что он может быть полезен.

— Прежде всего я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец, именно подлец.

— Ну, что ты,— надуваясь горлом, начал дядюшка.

— Да как же не мерзавец, когда я, Лизин муж, Лизин! — надо ведь знать ее чистоту, любовь,— когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой?

— То есть отчего же ты хочешь? Ты не изменил ей?

— Да, то есть все равно что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали, а то я теперь бы... теперь бы. Я не знаю, что бы я сделал.

— Но позволь, ты объясни мне...

— Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношения с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть, как я встречался с ней в лесу, в поле...

— И хорошенькая? — сказал дядюшка.

Евгений поморщился от этого вопроса, но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал:

— Ну, я думал, что это так, что я перерву и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы и почти год и не видал и не думал о ней,— Евгению самому странно было себя слушать, слушать описание своего состояния,— потом вдруг, уж я не знаю отчего,— право, иногда веришь в привороты,— я увидал ее, и червь залез мне в сердце — гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас своего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это, и если не сделал, то только бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня.

— Как, в дождь?

— Да, я излучался, дядюшка, и решил открыться вам и просить вашей помощи.

— Да, разумеется, в своем именье это нехорошо. Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем именье?

Опять Евгений постарался не слышать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела.

— Да вы спасите меня от себя. Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра, в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного.

— Да, положим,— сказал дядюшка. — Но неужели ты так влюблен?

— Ах, совсем не то. Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Я не знаю, что делать. Может быть, я окрепну, тогда...

— Ну вот и выходит по-моему,— сказал дядюшка.— Поедемте-ка в Крым.

— Да, да, поедемте, а пока я буду с вами, буду говорить вам.

XVIII

То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну и, главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгению. ездил в город доставать денег на поездку, распорядился из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женою и стал нравственно оживать.

Так, ни разу после того дождливого дня не видав Степаниду, он

уехал с женою в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминания. В Крыму они встретили прежних знакомых и особенно сблизилась с ними; кроме того, сделали новые знакомства. Жизнь в Крыму для Евгения была постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна для него. Они сблизилась там с бывшим губернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным человеком, который любил Евгения и образовывал его и привлек на свою сторону. В конце августа Лиза родила прекрасную, здоровую девочку, и родила неожиданно очень легко.

В сентябре Иртеневы поехали домой уже сам-четверт, с ребенком и кормилицей, так как Лиза не могла кормить. Совершенно свободный от прежних ужасов, Евгений вернулся к себе совсем новым и счастливым человеком. Пережив все то, что переживают мужья при родах, он еще сильнее любил жену. Чувство к ребенку, когда он его брал на руки, было смешное, новое, очень приятное, точно щекотное чувство. Еще новое в его жизни теперь было то, что, кроме занятий хозяйством, в его душе благодаря сближению с Думчиным (бывший предводитель) возник новый интерес земский, отчасти честолюбивый, отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собрание, в котором его должны были выбрать. Приехав домой, он раз съездил в город, другой раз к Думчину.

О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся.

До такой степени теперь он чувствовал себя свободным от этого, что он даже не побоялся спросить при первом случае, когда они остались одни, у приказчика. Так как он уж говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить.

— Ну что, Пчельников Сидор все не живет дома? — спросил он.

— Нет, все в городе.

— А баба его?

— Да пустая бабенка! Теперь с Зиновеем путается. Совсем заболталась.

"Ну и прекрасно,— подумал Евгений. — Как удивительно мне все равно и как я изменился".

XIX

Совершилось все, чего желал Евгений. Именье осталось за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, и доход ожидался большой; жена благополучно родила, и теща уехала, и его выбрали единогласно.

Евгений после избрания возвращался домой из города. Его поздравляли, он должен был благодарить. И он обедал и выпил бокалов пять шампанского. Совсем новые планы жизни теперь представились ему. Он ехал домой и думал о них. Было бабье лето. Прекрасная дорога, яркое солнце. Подъезжая к дому, Евгений думал о том, как он вследствие этого избрания займет в народе именно то положение, о котором он всегда мечтал, то есть такое, в котором он в состоянии будет служить ему не одним производством, которое дает работу, но прямым влиянием. Он представлял себе, как об нем через три года будут судить его же и другие крестьяне. "Вот и этот",— думал он,

проезжая в это время по деревне и глядя на мужика и бабу, которые шли ему поперек дороги с полным ушатом. Они остановились, пропуская тарантас. Мужик был старик Пчельников, баба была Степанида. Евгений взглянул на нее, узнал ее и с радостью почувствовал, что он остался совершенно спокойным. Она была все так же миловидна, но его это не тронуло нисколько. Он приехал домой. Жена встретила на крыльце. Был чудный вечер.

— Ну что, можно поздравить? — сказал дядюшка.

— Да, выбрали.

— Ну и прекрасно. Спрыснуть надо.

На другое утро Евгений поехал по хозяйству, которое он запустил. На хуторе молотилка новая работала. Рассматривая ее работу, Евгений ходил между баб, стараясь не замечать их, но как он ни старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды, носившей солому. Раза два он покосился на нее и почувствовал, что опять что-то, но не мог дать себе отчета. Только на другой день, когда он опять поехал на гумно хутора и пробыл там два часа, чего совсем не нужно было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины, он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет спасенья.

То, чего он ожидал, то и случилось с ним. На другой день вечером он, сам не зная как, очутился у ее задворков, против ее сенного сарая, где один раз осенью у них было свиданье. Он, как будто гуляя, остановился тут, закуривая папироску. Баба-соседка увидела его, и он, проходя назад, услышал, как она говорила кому-то:

— Иди, дожидается, сейчас умереть, стоит. Иди, дура!

Он видел, как баба — она — побежала к сараю, но ему нельзя уже было вернуться, потому что его встретил мужик, и он пошел домой.

XX

Когда он пришел в гостиную, все ему показалось дико и неестественно. Утром он встал еще бодрый, с решением бросить, забыть, не позволять себе думать. Но, сам не замечая как, он все утро не только не интересовался делами, но старался освободиться от них. То, что прежде важно было, радовало его, было теперь ничтожно. Он бессознательно старался освободиться от дел. Ему казалось, что нужно освободиться для того, чтобы обсудить, обдумать. И он освободился и остался один. Но как только остался один, так он пошел бродить в сад, в лес. И все места эти были загажены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими его. И он почувствовал, что он ходит в саду и говорит себе, что обдумывает что-то, а он ничего не обдумывает, а безумно, безосновательно ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как он желает ее, и возьмет и придет сюда или куда-нибудь туда, где никто не увидит, или ночью, когда не будет луны, и никто, даже она сама, не увидит, в такую ночь она придет, и он коснется ее тела...

"Да, вот и перервал, когда захотел,— говорил он себе. — Да, вот и для здоровья сошелся с чистой, здоровой женщиной! Нет, видно, нельзя так играть с ней. Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила. Ведь я думал, что я свободен, а я не был свободен. Я обманывал себя, когда женился. Все было вздор, обман. С

тех пор как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа. Да, мне надо было жить с ней.

Да, две жизни возможны для меня; одна та, которую я начал с Лизой: служба, хозяйство, ребенок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо, чтоб ее, Степаниды, не было. Надо услать ее, как я говорил, или уничтожить ее, чтоб ее не было. А другая жизнь -- это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка). Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Чтоб она узнала, прокляла и уехала. Узнала, что я променял ее на бабу, что я обманщик, подлец. Нет, это слишком ужасно! Этого нельзя. Да, но может и так быть,-- продолжал он думать,-- может так быть. Лиза заболит да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно.

Прекрасно! О негодяй! Нет, уж если умирать, то ей. Кабы она умерла, Степанида, как бы хорошо было.

Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать и, вместо объятий, в грудь. И кончено.

Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя [С этого места начинается вариант конца повести]. Нельзя. Надо обдумать и предвидеть. Если остаться так, как есть, то что будет?

Будет то, что я опять себе скажу, что я не хочу, что я брошу, но я только скажу, а буду вечером на задворках, и она знает, и она придет. И или люди узнают и скажут жене, или я сам скажу ей, потому что не могу я лгать, не могу я так жить. Не могу. Узнается. Все узнают, и Параша, и кузнец. Ну и что же, разве можно жить так?

Нельзя. Только два выхода: жену убить или ее. Да еще...

Ах, да, третий есть: себя,-- сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. -- Да, себя, тогда не нужно их убивать". Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. "Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот чего не думал никогда. Как это странно будет".

Он вернулся к себе в комнату и тотчас открыл шкаф, где был револьвер. Но не успел он открыть его, как вошла жена.

XXI

Он накинул газету на револьвер.

-- Опять то же,-- с испугом сказала она, взглянув на него.

-- Что то же?

-- То же ужасное выражение, которое было прежде, когда ты не хотел мне сказать. Геня, голубчик, скажи мне. Я вижу, ты мучаешься. Скажи мне, тебе легче будет. Что бы ни было, все лучше этих твоих страданий. Ведь я знаю, что ничего дурного.

-- Ты знаешь? Пока.

-- Скажи, скажи, скажи. Не пушу тебя.

Он улыбнулся жалкой улыбкой.

"Сказать? Нет, это невозможно. Да и нечего говорить".

Может быть, он сказал бы ей, но в это время вошла кормилица, спрашивая, можно ли идти гулять. Лиза вышла одеть ребенка.

-- Так ты скажешь. Я сейчас приду.

-- Да, может быть...

Она никогда не могла забыть улыбки страдальческой, с которой он

сказал это. Она вышла.

Поспешно, крадучись, как разбойник, он схватил револьвер, вынул из чехла. "Он заряжен, да, но давно, и одного заряда недостает. Ну, что будет".

Он приставил к виску, замялся было, но как только вспомнил Степаниду, решение не видеть борьбу, соблазн, падение, опять борьбу, так вздрогнул от ужаса. "Нет, лучше это". И пожал гашетку.

Когда Лиза вбежала в комнату,— она только что успела спуститься с балкона,— он лежал ничком на полу, черная, теплая кровь хлестала из раны, и труп еще подрагивал.

Было следствие. Никто не мог понять и объяснить причины самоубийства. Дядюшке даже ни разу не пришло в голову, что причина имела что-нибудь общего с тем признанием, которое два месяца тому назад ему делал Евгений.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящ, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

19 ноября 1889. Ясная Поляна

Приложение:

<ВАРИАНТ КОНЦА ПОВЕСТИ "ДЬЯВОЛ">

...сказал он себе и, подойдя к столу, достал из него револьвер и, осмотрев его — одного заряда не доставало,— положил его в карман штанов.

— Боже мой! что я делаю? — вдруг вскрикнул он, и, сложив руки, он стал молиться. — Господи, помоги мне, избавь меня. Ты знаешь, что я не хочу дурного, но я не могу один. Помоги мне,— говорил он, крестясь на образ.

"Да я могу же владеть собой. Пойду похожу и обдумаю".

Он вышел в переднюю, надел полушубок, калоши и вышел на крыльцо. Не замечая этого, шаги его направились мимо сада полевой дороге к хутору. На хуторе все еще гудела молотилка и слышались крики погонщиков-мальчиков. Он вошел в ригу. Она была тут. Он тотчас же увидал ее. Она сгребала колос, и, увидав его, она, смеясь глазами, бойкая, веселая, рысью побежала по раскиданному колосу, ловко сдвигая его. Евгений не хотел, но не мог не смотреть на нее. Он опомнился только, когда она перестала быть видима. Приказчик доложил, что теперь домолачивают слежавшиеся и что от этого больше и выхода меньше. Евгений подошел к барабану, изредка стучавшему при пропуске плохо распластанных снопов, и спросил приказчика, много ли таких слежавшихся снопов.

— Возов пять будет.

— Так вот что... — начал Евгений и не договорил. Она подошла вплоть к барабану, из-под него выгребая колос, и обожгла его своим

смеющимся взглядом.

Взгляд этот говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях. Евгений почувствовал себя в ее власти, но не хотел сдаваться.

Он вспомнил свою молитву и попытался повторить ее. Он стал про себя говорить ее, но тотчас же почувствовал, что это было бесполезно.

Одна мысль теперь поглотила его всего: как незаметно от других назначить ей свидание?

— Если нынче кончим, прикажете начинать новый скирд или уж до завтра? — спросил приказчик.

— Да, да, — отвечал Евгений, невольно направляясь за нею к вороху, к которому она с другой бабой пригребала колос.

"Да неужели я не могу овладеть собой? — говорил он себе. — Неужели я погиб? Господи! Да нет никакого бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол".

Он подошел вплоть к ней, вынул из кармана револьвер и раз, два, три раза выстрелил ей в спину. Она побежала и упала на ворох.

— Батюшки! родимые! что ж это? — кричали бабы.

— Нет, я не нечаянно. Я нарочно убил ее, — закричал Евгений. — Посылайте за становым.

Он пришел домой и, ничего не сказав жене, вошел в свой кабинет и заперся.

— Не ходи ко мне, — кричал он жене через дверь, — узнаешь все.

Через час он позвонил и у пришедшего лакея спросил:

— Поди узнай, жива ли Степанида.

Лакей уж знал все и сказал, что померла с час назад.

— Ну и прекрасно. Теперь оставь меня. Когда приедет становой или следователь, скажи.

Становой и следователь приехали на другое утро, и Евгений, простившись с женой и ребенком, был отвезен в острог.

Его судили. Это были первые времена суда присяжных. И его признали временно душевнобольным и приговорили только к церковному покаянию.

Он пробыл в остроге девять месяцев и в монастыре месяц.

Он начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным, неменяемым алкоголиком.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной, психопат. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящий, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

Примечания
(В.Я. Линков)

Впервые опубликовано в изд.: "Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого", под ред. В. Г. Черткова, т. 1. М., 1911.

Толстой датировал повесть 19 ноября 1889 года. Вся повесть была написана за десять дней. Второй вариант конца (эпизод убийства Степаниды) относится к апрелю — маю 1890 года. Но и после написания нового конца Толстой не считал ее законченной, не хотел печатать и рукопись спрятал в обшивке кресла в своем кабинете, опасаясь взрыва ревности со стороны жены (см.: Л. Д. Опульская. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год, с. 178—179).

В повести отразились личные переживания Толстого, связанные с увлечением в молодости яснополянской крестьянкой Аксиной Базыкиной, а в возрасте 49 лет — кухаркой Домной, с чувством к которой он боролся.

Сюжетная основа повести отражает реальные события из жизни тульского судебного следователя Н. Н. Фридрихса, который через три месяца после женитьбы на девушке-дворянке убил крестьянку Степаниду Муницыну, с которой прежде у него была связь, выстрелом из револьвера. Позже, через два месяца, его самого нашли раздавленным поездом. Погиб он вследствие близорукости или преднамеренно — осталось неизвестным. В Дневнике Толстого повесть называлась "историей Фридрихса".